

УДК 82.091
ББК 83.3
С 36

Исследование выполнено
в рамках государственного задания ФГБУН ИФЛ СО РАН
(FWZU-2026-0001: «Сюжетно-мотивные комплексы русской литературной эпики:
синтез исторического, утопического, фантастического»).

Утверждено к печати Ученым советом
Института филологии Сибирского отделения РАН

Рецензенты:
д-р. филол. н. *Д. В. Долгушин*,
д-р. филол. н. *А. И. Куляпин*

Силантьев И. В., Шатин Ю. В.

С 36 Риторика — поэтика — текст / Отв. ред. В. И. Тюпа. — М.: Издатель-
ский Дом ЯСК, 2026. — 208 с. — (Язык. Семиотика. Культура.)

ISBN 978-5-907498-96-9

В триаде «риторика — поэтика — текст» риторика обеспечивает основные параметры мышления текстами: логос, этос и пафос. При переходе на более высокий уровень поэтики текст получает новое свойство — эксклюзивность, вписанность в авторскую модель мира. Главными объектами предлагаемого исследования выступают художественный язык и художественный текст, существующие на фоне иных типов дискурса. Благодаря художественному языку означающее текста оказывается не менее значимым в сравнении с означаемым. В процессе же создания художественный текст отказывается следовать жестким законам формальной логики и продуцирует новый подход, открывающий путь целостности артефакта. Книга включает как главы теоретического характера, связанные с анализом различных типов дискурса, так и конкретную реализацию указанного подхода на разнообразном материале, начиная от сибирского литературного авангарда и литературы дальневосточной эмиграции 1920-х годов и заканчивая творчеством наших современников, существенно меняющих картину русской литературы.

ISBN 978-5-907498-96-9



9 785907 498969 >

УДК 82.091
ББК 83.3

© И. В. Силантьев, Ю. В. Шатин, текст, 2026
© Издательский Дом ЯСК, оригинал-макет, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
1. ПОЭТИКА И РИТОРИКА	9
1.1. Сюжетология и сюжетография как базовые основания нарратологии	9
1.2. Дискурс и стереотип.....	13
1.3. Новая риторика Х. Перельмана и приемы риторической аргументации в работах А. Пуанкаре	21
1.4. Российский судебный дискурс в свете современной теории аргументации	32
1.5. Универсалии вербальной культуры: в поисках общего понятия	43
1.6. Универсалии текста как теоретическое понятие	54
2. ИЗ ИСТОРИИ СИБИРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АВАНГАРДА.....	68
2.1. «Настоящее»: неудавшийся опыт сибирского авангарда	68
2.2. Журналистика «Сибирский огонь» в борьбе с российским литературным авангардом 1920-х годов	78
3. ИЗ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ВЕТВИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭМИГРАЦИИ.....	88
3.1. Драма Г. Чулкова «Тайга»: рецепция сибирского текста в контексте русского символизма	88
3.2. Ритмопоэтическая организация прозаических произведений Бориса Беты (Б. В. Буткевича).....	98
3.3. Стихотворное мастерство Бориса Беты (Б. В. Буткевича)...	106
3.4. Поэтика утопии vs антиутопии в прозе В. С. Логинова	117
3.5. Мифопоэтика Сибири в творчестве В. С. Логинова	125

4. СТРАНИЦЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	136
4.1. «Якутия» А. Е. Строганова. Художественная деконструкция мифологической идиллии	136
4.2. Поэзия второй степени от Осипа Мандельштама до Тимура Кибирова. Феномен лирического алломотива	146
4.3. Пушкинский код Дмитрия Александровича Пригова. Предошущение метамодерна	157
4.4. Циклизация короткой прозы в современной русской литературе	169
4.5. Лирическое сюжетообразование в короткой прозе	175
Литература	191

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга возникла как результат совместной работы авторов по нескольким литературоведческим направлениям, что отражено в ее оглавлении.

В триаде *риторика — поэтика — текст* риторика обеспечивает основные параметры мышления текстами, выделенные еще Аристотелем: логос, этос, пафос. При переходе на более высокий уровень поэтики текст получает важное дополнительное свойство — эксклюзивность, жесткую вписанность в авторскую модель мира.

Таким образом, авторы книги исходят из того, что ее главными героями являются художественный язык и художественный текст, существующие на фоне иных типов дискурса, например судебного. Благодаря художественному языку означающее текста оказывается не менее значимым в сравнении с означаемым. В процессе же создания художественный текст отказывается следовать жестким законам формальной логики и продуцирует новый подход, открывающий путь целостности артефакта.

Книга включает как статьи теоретического характера, связанные с анализом различных типов дискурса, так и конкретную реализацию указанного подхода на разнообразном материале, начиная от сибирского литературного авангарда и литературы дальневосточной эмиграции 1920-х годов и заканчивая творчеством наших современников, существенно меняющих картину русской литературы.

Большинство глав написано авторами совместно. Авторство глав 4.2–4.3 принадлежит Ю. В. Шатину, глав 4.4–4.5 — И. В. Силантьеву.

Авторы выражают глубокую признательность Л. С. Дампиловой и Е. Н. Кузьминой, выступившим соавторами раздела 1.5 и И. Е. Киму, выступившему соавтором разделов 1.5–1.6.

1. ПОЭТИКА И РИТОРИКА

1.1. Сюжетология и сюжетография как базовые основания нарратологии

Сюжетологию можно определить как подход, направленный на изучение сюжета как смыслообразующего способа повествования, его элементарной структуры и функций в системе фольклорного и литературного произведения. Сюжетография, по аналогии с лексикографией, может трактоваться как подход, направленный на фиксацию и систематизацию устойчивых единиц сюжетного повествования в фольклоре и литературе, в первую очередь мотивов и сюжетов.

История изучения сюжетов — это история постепенной денатурализации и отказа от эмпирического удвоения сюжета как фактора текстовой реализации и как фактора филологической фиксации. Если до конца XIX века сюжет делится на крупные фрагменты, повторяющиеся в любом эпическом и драматическом тексте: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка, то уже у А. Н. Веселовского возникает необходимость выделения более мелких и более специальных единиц — мотивов.

Определив мотив как «простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения», Веселовский отграничил вопрос о мотивах от принципов сюжетостроения. «Простейшие мотивы... могли самозарождаться, серии мотивов = сюжеты возбуждают, при их сходстве, вопрос о заимствовании с той или иной стороны» [Веселовский 1940: 500–502]. Таким образом, можно говорить о двух интенциях мотивов — простейших (архетипических) с установкой на познание и объяснение

и более сложных с установкой на занимательность, усиливающей личное изобразительное начало. Указанные группы различаются как в плане парадигматики, так и в синтагматическом отношении. Простейшие мотивы ограничиваются некоторым конечным состоянием и, следовательно, исчислимы. Вторые стремятся к бесконечности, хотя и не достигают ее. Вместе с тем комбинаторика простейших мотивов строго упорядочена и подчинена однотипным схемам, тогда как изобретенные мотивы требуют все более изощренной синтагматики, характерной прежде всего для литературы XX–XXI веков. Из сказанного можно сделать вывод, что современное толкование наследия Веселовского имеет большие перспективы для нарратологической теории.

Значительный интерес представляет понимание связи мотива и сюжета, сформулированное в 1920-х годах Б. В. Томашевским, который понимал под мотивом «тематически более неразложимый элемент». Эта интерпретация позволила исследователю разделить мотивы на две группы (связные и свободные) и показать тем самым взаимосвязь фабулы как совокупности связных мотивировок и сюжета как совокупности связных мотивировок и мотивировок свободных.

Независимо от Томашевского принцип тематического понимания мотива связывается с теорией актуального членения высказывания на темы и ремы. Знаменитые «лекции» Р. Барта в работе «S/Z» резко продвинули нарратологическую теорию, сблизив ее с дискурсным анализом. Продолжая данную традицию, было бы любопытно рассматривать сюжеты как древовидные формы с единицами разных масштабов, выявляя по мере их измельчения индивидуальные дискурсивные свойства текста.

В свою очередь, такой подход позволяет в перспективе создать теоретический конструкт, конкретизирующий взаимосвязь нарратива и дискурса, который в общем виде был указан Ж. Женеттом: «В качестве нарратива повествование существует благодаря связи с историей, которая в нем излагается; в качестве дискурса оно существует благодаря связи с нарративом, которая его порождает» [Женетт 1998: 66].

Следует также иметь в виду важное для нарратологии наблюдение В. И. Тюпы, согласно которому «нарративный дискурс представляет собой обширный и разнородный по жанровому составу класс двоякособытийных коммуникативных практик, связывающих в нераздельное единство высказывания два качественно разнородных

события — референтное и коммуникативное» [Тюпа 2013: 29]. Выявление дефиниций и дифференциаций каждого типа событий открывает большие возможности для нарратологии и дискурсного анализа.

Иной подход к нарратологии был представлен также в 1920-е годы В. Я. Проппом, который описал сюжет волшебной сказки как набор функций действующего лица, «которыми могут быть заменены “мотивы” Веселовского или “элементы” Бедье... Под функцией понимается поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода действия» [Пропп 1928: 29–31]. Как известно, сам Пропп весьма скептически относился к возможности распространить выводы, сделанные на материале волшебной сказки, на другие жанры.

По-видимому, не до конца порвавший с натуралистическими представлениями В. Я. Проппу трудно было отрешиться от мысли о тождестве персонажа с конкретным действующим лицом (героем). Однако уже в начале 1970-х годов Ю. М. Лотман предложил рассматривать персонаж как набор функций, частично противоречащих друг другу, когда одно и то же действующее лицо могло выступать и как вредитель и как даритель (например, Свидригайлов из «Преступления и наказания»).

По нашему мнению, прав французский семиолог К. Бремон, указавший на то, что «с неизбежностью возникает вопрос о возможности переноса метода Проппа на иные корпусы сказочных текстов и, далее, на иные нарративные жанры» [Бремон 1983: 431].

Вместе с тем следует признать, что обращение к художественным текстам авангарда и поставангарда, где границы акторального и аукторального повествования резко и часто немотивированно сдвигаются, создают определенные аналитические сложности, требующие уточнения и углубления существующей нарратологической теории.

Таким образом, нарратив в его сюжетном аспекте выступает одной из фундаментальных поэтологических основ литературного текста, особенно в эпическом произведении.

Важным представляется изучение прикладных вопросов сюжетографии, и одним из самых актуальных является вопрос о соотношении литературного и исторического нарратива.

Исторический нарратив строится на принципе событийного осмысления и оценки фактов. В поле зрения историка, как правило, попадают такие факты, которые, будучи подвергнуты событийному осмыслению и оценке, дают простор для сюжетных интерпретаций в духе

стереотипных мифоидеологических моделей эпохи. Следует, однако, добавить, что к аспекту первичного образования события в историческом нарративе добавляется аспект вторичного вовлечения события из череды предшествующих нарративных источников, как правило, с их сопутствующей критикой, а значит, и с переосмыслением самих вовлекаемых в нарратив событий. Этот аспект обычно связывают с проблемой критики источников. Событийное осмысление и оценка факта, и без того нагруженного содержанием определенной точки зрения, может сопровождаться в историческом нарративе домыслом и примыслом — но не вымыслом как таковым. Прямой и откровенный вымысел разрушает коммуникативную стратегию исторического дискурса и автоматически переводит нарратив в сферу дискурса беллетристики — того, что англичане именуют *fiction*.

Литературный нарратив строится на принципе вымышленного конструирования события — не на основе факта, а на основе мотива, и поэтому он, в отличие от нарратива исторического, оказывается закольцованным. Мотив складывается в литературе как результат обобщения семантически подобных событий, и в то же время новое событие вымышляется новым автором на основе уже сложившегося мотива. Так в повествовательной традиции литературы проявляется динамическое единство языка и речи, системы и ее функционирования.

Таким образом, различие исторического и литературного нарратива проходит в плане генезиса события «от факта» или «от мотива». Принципиально различаются и нарративные модальности истории и литературы, о чем известно со времен Аристотеля: «Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. Ведь сочинения Геродота можно было бы переложить в стихи, и все-таки это была бы такая же история в метрах, как и без метров. Разница в том, что один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы произойти» [Аристотель 1998: 1077]. В истории по умолчанию принимается модальность «рассказать о том, что было — но с определенной точки зрения». В литературе — «рассказать о том, чего никогда не было, но что могло бы быть». При этом в историческом нарративе самая определенность точки зрения неизбежно вносит в событие примысел, а нередко и домысел. В литературном нарративе событие целиком строится на стратегии вымысла.

Самое интересное, как всегда, происходит на границах отмеченных явлений. Нарративная литература включает ряд переходных, или гибридных, жанров, предполагающих обращение к фактам, но, по существу, вплетающих фактуальные события в канву событий мотивного происхождения, что дает возможность для широких сюжетных интерпретаций нарратива. Это мемуарная, дневниковая, эпистолярная литература, а в наше время — ищущая свои дискурсные формы литература блогов и записей в социальных сетях.

В свою очередь, исторический нарратив нередко включает в себя событийность, построенную на основе определенной литературной мотивики, что помогает повествователю осмыслить череду исторических фактов в рамках определенной идеологической, мифологической и даже художественной сюжетной модели. В таком случае исторический текст наполняется вымышленными событиями и образами. Это история, балансирующая на грани вымысла. Таким образом, генезис события в историческом нарративе может включать факультативный аспект мотива, а генезис литературного события может включать факультативный аспект факта.

1.2. Дискурс и стереотип

В первом приближении понятия дискурса и стереотипа представляются далеко отстоящими друг от друга и слабо связанными.

В современной теории коммуникации под дискурсом понимают событийное высказывание, нарушающее привычный ход вещей и создающее, таким образом, новый смысл. Проще говоря, любое оригинальное высказывание, отвечающее целям и интересам отправителя и получателя сообщений, попадает под определение дискурса.

Терминологический статус понятие стереотипа впервые получило в 1922 году в работах американского политолога и специалиста по коммуникациям У. Липмана, который подразумевал под стереотипом картинки мира в голове человека, направленные на упрощение сложных социальных процессов и защиту обыденного мышления, его позиций, мнений и права на «истину».

Порядок дискурса, таким образом, направлен на неизвестные, вновь открываемые стороны мира, в то время как стереотип обращается к известным и потому предсказуемым конструкциям. Говоря о порядке дискурса, М. Фуко заметил, что «с тех пор, как были исключены игры и торговля знанием софистов, и их парадоксам заткнули, наконец, рот, европейская мысль, кажется, не переставала заботиться, чтобы оставалось как можно меньше места между мыслью и речью, о том, чтобы дискурс выступал только как некая вставка между “думать” и “говорить”» [Фуко 1996: 75]. Одним из самых эффективных инструментов, ограничивших всевластие дискурса, стал стереотип.

В нашу задачу не входит рассмотрение всех аспектов языка и мысли, связанных со стереотипом, — напротив, мы хотели бы остановиться только на одной проблеме: каким образом стереотип становится основной, если не единственной, формой борьбы с коммуникативными возможностями дискурса. Трактую дискурс как любое коммуникативно значимое событие, мы приходим к выводу, что стереотип убивает именно событийный потенциал дискурса, сохраняя его форму, а в ряде случаев и украшая ее различными риторическими средствами.

Понять механизм такого уничтожения можно, лишь определив точку схождения дискурса и стереотипа, их место в универсальной модели текстообразования. Эта модель была создана известным нидерландским лингвистом Т. ван Дейком [Дейк 1989]. Она включает три иерархических уровня, благодаря которым возникает связность текста: пропозициональные отношения, основанные на актуальном членении предложения, делающем упор не на синтактику, а на семантику и прагматику благодаря разделению высказывания на тему и рему; макроструктурные отношения, базирующиеся на принципе пресуппозиции, выражающем ожидания получателя сообщения (цель, интерес, стиль); наконец, отношения суперструктурные, маркирующие тот или иной тип текста (или то, что М. М. Бахтин называл речевыми жанрами).

Мы полагаем, что именно на уровне макроструктурных оппозиций дискурс встречается со стереотипом и вступает с ним в отношения состязания (агона). Следствием такого агона становится война языков в смысле Р. Барта, а ее результатом — деление языкового поля на энкратические социолекты в случае победы стереотипа над дискурсом и акратические, когда дискурс побеждает стереотип. Напомним, что энкратический язык, по Р. Барту, «нечеток, расплывчат, выглядит как

“природный” и потому трудноуловим; это язык массовой культуры (большой прессы, радио, телевидения), а в некотором смысле также и язык быта, расхожих мнений (доксы)... Напротив того, акратический язык резко обособлен, отделен от доксы (то есть парадоксален); присущая ему энергия разрыва порождена его систематичностью, он зиждется на мысли, а не на идеологии» [Барт 1989: 537].

Мы не будем рассматривать власть дискурса в акратическом языке, куда Барт относит марксистский, фрейдистский или ницшеанский дискурсы, а также построения ранних и поздних софистов, проще говоря, все случаи, где, по выражению Л. Витгенштейна, «философия ведет непримиримую борьбу против околдования нашего разума чарами языка». Предметом нашего анализа выступают случаи однозначной победы стереотипа над коммуникативной событийностью дискурса. В этом контексте мы выделяем шесть основных черт стереотипа и пытаемся объяснить особенности каждой: а) доксологичность; б) коллажность; в) словесная избыточность; г) мягкость дискурсии; д) отсутствие критической рефлексии; е) высокая прагматичность, предполагающая возможность перформатива.

В основе одержавшего победу стереотипа всегда лежит докса, базирующаяся на здравом смысле и/или общепринятом мнении. Эти доксы не существуют изолированно, но образуют своего рода набор. Любой стереотип всегда существует в соседстве с другими и тем самым определяет содержание нашего мышления. В качестве примера такого образа мышления можно привести отрывок из стихотворного романа Ильи Сельвинского «Пушторг» (1927). Вот как в нем характеризуется конструкция мыслей главного героя Льва Кроля:

Он знал, например, афоризм Ибсена:
«Не жертвуй честью ни дружбе, ни любви»,
Он знал, что до Гоголя сотворен «Вий»,
Что нитрогениум значит азот,
Что в Дании на четверых один кооператор,
Тогда как в России на 7500.
Что озимь видать уже на Илью,
Что Илья приходится на июль,
Что от слова «добить» произошло — «добыча».
У Пушкина в зубе была дыра,

Против глистов помогает клизма, —
Короче говоря, не вредный обычай
Читать перед сном листки календаря.

Ценность этого отрывка усиливается тем, что поэт точно указывает адрес, из которого черпается подобная информация. Листки отрывного календаря — не только кладезь познания, но и идеальный формат для хранения и распространения стереотипов.

В наше время функции отрывного календаря берет на себя Интернет. Пользователю сети ежедневно и ежечасно предлагается набор сайтов новостного и развлекательного характера, обязательными компонентами которого служит стереотипная информация, заключенная в краткие текстовые форматы, подобные листкам календаря. Вершиной воплощения стереотипной стратегии Интернета выступает Википедия — так называемая народная энциклопедия Интернета, успешно соединяющая в единый свод все общие представления человечества, преимущественно в его европейском варианте, о мире и самом себе.

Другой питательной средой и источником стереотипного оформления мировоззрения и мироотношения в современной массовой культуре выступают средства массовой коммуникации, особенно телевизор, а также вовлеченные в него дискурсивные практики политики, социальной квазиэкспертизы, воплощенные в жанрах различных «ток-шоу», «круглых столов», «теледебатов» и т. п. О роли телевидения и квазиэкспертов (*fast-thinkers*, по аналогии с *fast food*) ярко и глубоко написал П. Бурдьё в своей саркастической книге «О телевидении и журналистике» [Бурдьё 2002]. Не менее продуктивна в плане культивирования стереотипов и среда школьной дискурсивной практики. Школьный учебник — это, собственно говоря, заповедник стереотипов самого разного толка, причем это касается не только учебников по гуманитарным дисциплинам, но и текстов естественно-научного цикла образования.

Другим признаком стереотипов является их коллажность, подразумевающая не только отсутствие логической системности, но и отказ от какой-либо аксиологии. В наборе стереотипов важна не столько их тривиальность, сколько смешение действительно важного для образования со случайным и даже нелепым. Если источником доксологичности является календарь, то коллажность задается такими типами текста, как кроссворды, сканворды или чайнворды. Когда вам

предлагается по горизонтали название одной из бразильских авиакомпаний, а по вертикали фамилия матери голливудской звезды до замужества или название совета, который решал судьбу новорожденных в Спарте, или киргизское название ткани из козьего пуха, реализуется именно такая коллажность. При этом подразумевается, что потребитель коммуникативного продукта действительно отбросит все дела и начнет рыться в ворохе справочной литературы, никак не связанной с системным мышлением.

Коллажность стереотипов еще в большей степени характерна для жанра так называемой массовой газеты, издаваемой в формате таблоида (*penny press*). Современная массовая газета представляет собой радостно-идиотский коллаж самых ходовых и употребительных стереотипов, оформленных в жанрах заметки, репортажа, вопроса — ответа и т. п. Характерно, кстати, что именно на последних страницах таблоидов прочно обосновались кроссворды, сканворды, чайнворды и прочие «ворды». Новейшая художественная литература также без стеснения вовлекается в процесс массового воспроизводства стереотипов, обнаруживая органические связи с таблоидом и рекламой [Силантьев 2006].

Известный французский культуролог А. Моль, характеризуя коллажность современного стереотипного сознания, разделяет две культуры, противопоставляя культуре классической — современную, «мозаичную».

Роль культуры состоит в том, что она дает человеку «экран понятий», на который он проецирует и с которым он сопоставляет свои восприятия внешнего мира. У традиционной культуры этот «экран понятий» имел рациональную «сетчатую структуру», обладавшую, так сказать, почти геометрической правильностью. По целостной и стройной сети понятий человеку ничего не стоило перейти, скажем, от китайского фарфора к карбюратору и соотнести новые понятия со старыми. Современная культура, которую мы называем «мозаичной», предлагает для такого сопоставления экран, похожий на массу волокон, сцепленных как попало, — длинных, коротких, толстых, тонких, размещенных почти в полном беспорядке. Это экран вырабатывается в результате погружения индивидуума в поток разрозненных, в принципе никак геометрически не упорядоченных сообщений — он знает

понемногу обо всем на свете, но структурность его мышления крайне ограничена. Математически различие между двумя культурами можно выразить путем противопоставления близкого порядка («мозаичная культура»), где культуры связаны так называемыми марковскими вероятностями ассоциаций... понятиям дальнего порядка, где идеи упорядочены в иерархию определенными структурами связей (в том числе синтаксическими структурами) [Моль 2008: 44].

Каждый раз стереотип стремится к языковой избыточности, но опять-таки не столько в плане количественного преобладания слов над мыслями, сколько в том, что качество слова является избыточным по отношению к той ситуации, к которой стереотип прилагается. Стереотип всегда стремится обозначить бытовую ситуацию как субстанциальную, а субстанциальную опустить до уровня бытового наблюдения. Именно поэтому он всегда недостаточен для обозначения универсального, поскольку между мышлением и говорением в нем сразу обнаруживается «дыра смысла», и избыточен для обозначения уникального, ибо уникальное всегда экзистенциально, т. е. адресовано конкретной личности, что не подразумевается стереотипом. Стереотип изначально враждебен парадоксу, иронии и любой языковой инновации, т. е. игре ума, всякий раз разрушающей предсказуемость дискурса.

В этом смысле стереотип представляет собой пример «мягкого» дискурса и обладает всеми чертами энкратического языка, о котором писал Р. Барт. Дискурсивное воплощение стереотипа обладает высокой степенью экстраполяции. Подобная высокая предсказуемость охватывает в свою очередь и другие уровни сообщения, в частности уровень наррации, делая стереотипные сообщения похожими друг на друга, как две капли воды. Так, повестка дня и интерпретация новостных сообщений на различных телеканалах делает их передачи фактически идентичными.

Стереотип чужд критической рефлексии, но не в том смысле, что он содержит внутри себя какие-то табу или другие механизмы цензуры. Для критической рефлексии в стереотипе просто не оказывается места. Стереотип стремится к всеобъемлемости и тем самым исключает правило фальсификации, установленное в свое время К. Поппером, ибо «в той степени, в которой научное высказывание говорит о реальности, оно должно быть фальсифицируемо, а в той степени, в которой оно

не фальсифицируемо, оно не говорит о реальности» [Поппер 1983: 239]. Вопреки видимости, стереотип всегда апеллирует к реальности, но никогда не говорит о ней ничего существенного. Именно поэтому стереотип так прочно обосновался в современных средствах массовой информации, фактически уведаящих общественное сознание от реальности в область узаконенных властью ментальностей, коррелирующих с полем идеологии.

При этом следует подчеркнуть мультимедийный характер современного стереотипа, обитающего в СМИ, — это уже не просто докса как общепринятое суждение, это общепринятый визуальный и аудиальный образ, общепринятый жест, общепринятая улыбка, общепринятые предметы и вещи и даже общепринятые безобразия (например, в частной хронике шоу-мира). И при всем том стереотип все равно остается за гранью реальности — равно как зафотошопленная гламурная красавица на обложке глянцевого журнала остается не равной и не тождественной той реальной персоне, которая послужила моделью для фотографии.

Ослабление семантической значимости делает стереотип высокопрагматичным высказыванием. В стереотипном суждении значимость всегда доминирует над значением. Уничтожая природу коммуникативного события и дискурса, стереотип ориентирован на иррациональное коллективное действие, на поступок, пусть даже не мотивированный, но всякий раз взывающий к подвигу. С этой точки зрения стереотип намертво прикреплен не к дискурсу, но к лицу, уполномоченному на его произнесение. Стереотип исключает равноправный диалог (иную точку зрения) самим фактом своего существования. Единственной доступной формой диалога для него является вопросно-ответная форма, где неопытный ученик задает вопросы всезнающему учителю. В этом плане стереотип всегда «истинен», ибо его цель не мотивировать, но заражать. Прагматическая энергия стереотипа оказывается, таким образом, противоположной энергетическому потенциалу коммуникативного события, которое делает говорение событийным как раз благодаря непредсказуемости дискурса. Стереотип же — выражение архетипа, и потому всякий раз содержит в себе имплицитный магический жест. Именно поэтому стереотип авторитарен и тотален, он откровенно враждебен равноправной коммуникации, всегда предполагающей возможность выбора и изменения вектора свободы.

Будучи магическим жестом, стереотип связан с мифом и мифологическим мышлением. Стереотип не обязательно является мифом, он может быть обычной доксой, не претендующей на статус сакрального высказывания. Тем не менее стереотип и миф имеют общую когнитивную природу. Исследователь политического мифа К. Флад, апеллируя к трудам М. Эдельмана, справедливо утверждает, что

...неоднозначность, сложность происходящих процессов порождает недоумение и беспокойство... Отсюда потребность в мифах, в речевых инструментах, которые успокаивают людей, порождают у них иллюзию простоты и логичности. В политическом языке утверждаются ключевые метафоры, такие как «война с бедностью», и ключевые мифы — по большей части мифы о заговорах, о безупречных и героических вождях, о бескорыстной борьбе и самопожертвовании, — которые обостряют восприятие одних аспектов политической жизни и укрывают другие от общественного внимания. Благодаря постоянному повторению эти метафоры и мифы приобретают характер общеизвестных истин, способных вызвать мощный и энергический отклик, что, в свою очередь, побуждает публичных политиков еще интенсивнее внедрять мифы в обиход [Флад 2004: 75, 76].

Общим для мифов и стереотипов является то, что и тот и другой основаны на когнитивных шаблонах, создающих и поддерживающих иллюзию рационального познания мира и подталкивающих их носителей к отказу от креативного мышления. Указывая на подобную опасность, английский социальный психолог М. Биллинг писал: «Подходить к социальной психологии с когнитивных позиций — это нечто худшее, чем приравнять мышление к бездумному следованию правилам. Это означает признать, что мышление — это по большей части утверждение в предрассудках»¹ [Billing 1991: 41]. Укоренение мифа и стереотипа в мышлении, по мнению американского философа У. Беннета, образует глубинную структуру языка и мышления индивидуума, играет в них роль медиатора между сознанием и бессознательным. Таким образом, согласно нашей гипотезе, и миф и стереотип растворяют сукцессивный, т. е. развивающийся во времени, дискурс в недрах неподвижного

¹ Здесь и ниже перевод наш, если не оговорено иное. — И. С., Ю. Ш.

симультанного гештальта, в результате чего любая рационализация оказывается бессильной перед властью магических формул и заклинаний. Если глобальный тренд мышления развивается от мифа к логосу, то стереотип обуславливает реверсивное движение от логоса к мифу через инструменты метафорики языка, которые приобретают терапевтическую функцию и на социальном уровне выполняют ту же роль, которую демонстрирует психоаналитик во время сеанса с пациентом.

Итак, рассмотрев соотношение дискурса и стереотипа как чисто теоретическую проблему, мы столкнулись с тем, что она напрямую выводит нас к анализу конкретных культурных и политических практик. Это означает, помимо прочего, что мы оказываемся в пространстве критики идеологии и культуры. В свое время Ю. М. Лотман определил культуру как набор тестов. Столкнувшись с возможностью превращения культуры в набор стереотипов, мы вынуждены указать на грозящую опасность.

1.3. Новая риторика Х. Перельмана и приемы риторической аргументации в работах А. Пуанкаре

Язык есть риторика, ибо он хочет передавать лишь мнение (*doxa*), а не знание (*episteme*).

Ф. Ницше

Сопоставление двух имен, вынесенных в заглавие, может показаться на первый взгляд нелогичным и парадоксальным как в хронологическом, так и в тематическом отношении. Известный французский математик и естествоиспытатель умер менее чем через два месяца после рождения Перельмана, и в работах создателя новой риторики имя Пуанкаре встречается только один раз. Тем не менее существует несколько оснований для сравнения этих фигур. Революционный поворот в риторике, вызванный трудами Брюссельской школы, а также последующими разработками С. Тулмина, О. Дюкро, Ф. Еемерена и др., не мог возникнуть на пустом месте, но явился реализацией установок плеяды различных философов (Ф. Ницше, А. Бергсон, М. Хайдеггер,

Э. Кассирер¹⁾), а также поисками языка популяризации научных знаний, которыми пользовались крупнейшие физики, биологи и представители других точных наук. В этом контексте заметное место занимают книги и статьи А. Пуанкаре, значимые не только своим научным содержанием, но и приемами языка и риторической аргументации, которые демонстрировал ученый.

Как известно, центральным пунктом трудов Перельмана является учение о персуазивности, в основе которой лежит не строгое доказательство истины, но убеждение аудитории в релевантности излагаемых положений. «Для человека недостаточно говорить или писать, он должен быть также услышанным или прочитанным. Не имеет принципиального значения ни внимание слушателей, ни количество слушателей, чтобы признать говорение определенным условием, в определенном собрании людей, в определенной компетенции собравшихся» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 17]. Таким образом, риторический акт не является ни объективным, пригодным для трансляции достоверных событий, ни субъективным, целиком поглощенным внутренним миром говорящего. Всякий риторический акт — интерсубъективен. Любой оратор в процессе публичного говорения реализует одновременно две задачи: транслирует определенные убеждения и конструирует аудиторию, способную принять эти убеждения.

Традиционная триада Аристотеля «оратор — речь — аудитория» получает в риторике Перельмана новую интерпретацию. Излагая не истину, но мнение, оратор создает язык, способный стимулировать интеракцию получателя сообщения, аргумент в этом случае получает статус коммуникативного события, т. е. становится речевой конструкцией, направленной на изменение и/или подкрепление мнения реципиента, а аудитория оказывается гипотетическим и теоретическим конструктом, обеспечивающим коммуникацию.

Комментаторы работ Перельмана справедливо выделяют три компонента персуазивности: «а) интенциональность как направленность сознания на объекты действительного или воображаемого миров... б) интенциональность как соотношенность интенциональных состояний к определенным фрагментам концептуальной системы

¹ О связи полемики Э. Кассирера и М. Хайдеггера с идеями новой риторики см.: [Бенгстон, Розенгрэн 2019].

носителя интенциональных состояний»; в) индексальность как зависимость содержания интерпретации от определенной концептуальной системы [Анненкова 2012: 8]. Благодаря указанным компонентам всякое риторическое высказывание оказывается феноменологическим (в смысле Гуссерля), поскольку в отличие от формально-логического доказательства допускает изменение под влиянием времени и эволюции языка. Кант, вероятно, был первым, кто осознал, какую угрозу для традиционной риторики представляют временные и языковые изменения. В «Критике способности суждения» он писал: «Образцы вкуса в области поэзии и риторики должны быть составлены на мертвом и ученом языке, на мертвом — для того, чтобы не подвергаться изменениям, которым неизбежно подвержены языки... на ученом языке — для того, чтобы этот язык имел грамматику, которая не подчинена прихотливым изменениям моды, а сохраняет свои неизменные правила» [Кант 1966: 236]. Кардинальный отказ от условий, названных Кантом, и означал наделение риторики иным статусом, невозможным для ее классического периода.

Основным пафосом теории Перельмана и его соавтора Люси Ольбрехт-Тытека становится разработка теории аргументации как опосредованного логикой и риторикой звена. В первую очередь такая разработка означала отказ от панлогизма, характерного для аргументации прошлого этапа. Было осознано «ограничение собственного предмета исследования, ведь все, что математика игнорирует, является чуждым для нее. Полученную таким путем теорию доказательств (demonstration) логики обязаны были дополнить теорией аргументации» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 22].

Смещение акцента с логики на теорию аргументации, в свою очередь, обострило интерес к резервам естественного языка, а затем и к средствам риторики. Теперь аргументация понимается как «речевой акт, состоящий из ряда высказываний, которые предназначены для того, чтобы убедить рационального судью в правильности определенной точки зрения, приемлемости или неприемлемости этого выраженного мнения» [Еемерен, Гроотендорт 1994: 24]. Расширение сферы аргументации приводит к тому, что в нее включается «вся совокупность высказываний, имеющих целью внушение либо убеждение, каковы бы ни были аудитория, которой они адресованы, и предметы высказываний. Эта теория во многом сформулировала проблематику и систему исследований французского структурализма» [Анненкова 2012: 10].

Особое место в трудах Брюссельской школы отводилось риторической технике аргументов, в частности изучению связей, которые обосновывают структуру убеждения посредством апелляции к частному случаю. Перельман и Ольбрехт-Тытека разделили все частные случаи на три вида: пример, иллюстрацию и образец, в зависимости от функций каждого в процессе аргументации. «В качестве примера частный случай делает возможным обобщение, в качестве иллюстрации он может подтвердить уже установленное правило, в качестве образца — побудить к подражанию» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 350].

В зависимости от того, используем мы пример или иллюстрацию, мы меняем статус исходного правила аргументации. «В то время как пример призван обосновывать правило, назначение иллюстрации — укрепить убеждение слушающего в правильности уже известного» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 357]. Так, сюжет «Анны Карениной» строится как серия примеров, подтверждающих энтимему относительно того, что каждая несчастная семья несчастна по-своему. Напротив, в рассказе «После бала» Толстой пользуется иллюстрацией для доказательства тезиса, что один случай может радикально изменить судьбу героя.

Наконец, существенным вкладом в установление связей между теорией аргументации и риторикой становится в теории Перельмана и Ольбрехт-Тытека учение о метафоре и аналогии. Метафора и аналогия перестают здесь выполнять роль сравнения, как это трактуется традиционной стилистикой, но выступают как значимые опоры творческой мысли.

Подобно звену в индуктивном рассуждении, аналогия представляет собой этап в научном исследовании, являясь скорее средством открытия, чем средством доказательства: если аналогия удачна, то тема и фора преобразуются в примеры или иллюстрации более общего закона, по отношению к которому их предметные области унифицируются. Такая унификация приводит к включению в один и тот же класс отношения, объединяющего члены форы, и отношения, объединяющего члены темы, каковые становятся относительно этого класса взаимозаменяемыми, вся асимметрия между темой и форой таким образом исчезает [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 396].

Примечательность этого рассуждения заключается прежде всего в том, что в аналогии исчезает противопоставленность фигуры мысли

и языкового тропа. Аналогия одновременно выступает как способ доказательства и как механизм, обуславливающий творческое развитие мысли. Авторы приводят высказывание Хардинга, согласно которому если бы первые исследователи электричества не называли его «током», то форма научного исследования могла бы стать совершенно иной.

Таким образом, развертывание аналогии, согласно принятым конвенциям и правилам, представляет собой и процесс исследования, и процесс аргументации одновременно. В этом случае в отношении творчества аналогия может развертываться сколь угодно долго, но в отношении убеждающей силы ее рамки оказываются ограниченными той аудиторией, к которой они адресуются.

Столь же важным для категориального аппарата неориторики оказывается определение статуса метафоры как аргументативного средства в научном тексте. «Нам представляется неудовлетворительной любая концепция метафоры, не проливающая свет на ее роль в процессе аргументации... В настоящий момент наиболее удачным, на наш взгляд, способом описания метафоры является понимание ее как своего рода сгущенной аналогии — результата смешения элементов форы с элементами темы» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 399]. В качестве сгущенной аналогии метафоры могут омертвевать или, напротив, оживать.

Самое банальное клише может вновь ожить, если какая-нибудь деталь в тексте вызовет у читателя фору данного метафорического выражения. «У великих людей и у рядовых одни и те же несчастья, одни и те же размолвки, одни и те же страсти, но первые находятся в крае колеса, а вторые у его центра, и, таким образом, их меньше затрагивает его вращение». Как видим, оживление метафорического выражения не обязательно присутствует в тексте в эксплицитном виде: «колесо фортуны» лежит здесь всего лишь в подтексте [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 406].

Рассмотрим категорию метафоры более детально. Метафоре как ключевому способу выражения мысли и знания посвящена большая литература (см., в частности, обстоятельные обзоры в книгах: [Лагута 2003; Мишанкина 2010]; см. также базисные работы по теории метафоры Э. Кассирера, П. Рикера, Дж. Серля, Р. Якобсона и др. в книге: [Теория метафоры 1990]). О метафоре нередко стереотипно говорят

как о свернутом сравнении. В общем виде познавательно и коммуникативно продуктивное или, иначе, информативное сравнение двух объектов предполагает их относительное подобие. Полное подобие не ведет к образованию продуктивного сравнения, равным образом в плане сравнения непродуктивно и полное расподобие. На языковом уровне эти два крайних случая именуются тавтологией (этот топор — как топор) и абсурдом (этот топор — как тоннель). Структура значения знака, в том числе слова естественного языка, как правило, предполагает наличие некоего семантического ядра, или совокупности основных, ядерных, семантических признаков — собственно, сем, как их называют в семасиологии, и периферии, или второстепенных, конкретизирующих сем. Так, в структуре значения слова «топор» можно выделить ядерную сему «инструмент» и второстепенные семы «для рубки и стесывания дерева», «железный», «как правило, острый», «тяжелый», «с деревянной ручкой (топорищем)». В рамках операции сравнения относительное подобие устанавливается на уровне частных, второстепенных сем: «топор — как нож» (подобие по признаку «острый») или «топор — как гиря» (подобие по признаку «тяжелый»). В максимальной степени информативны сравнения объектов, обозначаемых знаками с далеко отстоящими друг от друга в общем семантическом поле ядерными семами. Например: «Этот матрос держится на воде как топор». В данном примере ядерная сема слова «матрос» («человек») и ядерная сема слова «топор» («инструмент») несводимы друг к другу и относятся к различным классам и, соответственно, к разным семантическим парадигмам. Но это и позволяет наиболее информативно раскрыть через сравнение признак абсолютного неумения плавать, присущий персонажу нашего примера. Именно такие сравнения служат материалом для образования метафор: «Этот матрос держится на воде топором». Что произошло в итоге данной трансформации? Мы убрали сравнительный союз «как» и срастили оба члена сравнения в единую семантико-синтаксическую конструкцию, в данном случае — глагол с управляемым существительным. При этом произошло и своего рода сращение значений данных слов — значение главного, управляющего слова, в нашем случае глагола «держаться», обогатилось дополнительными уточняющими семами слова «топор». Приведем другой пример метафорических трансформаций: «У этой девушки волосы желтые и блестящие как золото» — «У этой

девушки золотые волосы», или, еще глубже: «Золото волос этой девушки». Ключевая роль метафоры и заключается в семантическом обогащении и приращении наших чувственных, в том числе образных, знаний об окружающем мире и нас самих.

В функциональном отношении можно говорить о научных метафорах двух типов — концептуальных (онтологических) и дискурсивных (метафорах выражения). Понятие концептуальной метафоры было разработано Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [Лакофф, Джонсон 2004]. Концептуальная метафора лежит в основе категориальной системы научной дисциплины и, как правило, выражена в форме научного термина. Однако язык науки опирается на метафору не только в плане концептуального конструирования и терминологизирования системы понятий и категорий. Метафора необходима науке собственно для выражения мысли, для хода рассуждений. Такую метафору — метафору выражения мысли — называют дискурсивной метафорой.

Актуальной выступает мысль о метафоре, высказанная Ю. С. Степановым: «Метафора — фундаментальное свойство языка, не менее фундаментальное, чем, например, оппозиция элементов языка. Посредством метафоры говорящий (следовательно, всякий человек) последовательно вычленяет из мира, определяемого координатами “я — здесь — сейчас” — из тесного круга, прилегающего к его телу и совпадающего с моментом его речи, другие миры [Степанов 1998: 385]». В этой идее важна формула «круга, прилегающего к его телу и совпадающего с моментом его речи» — она помогает нам понять телесно-бытовой и в целом вещный характер научной метафоры.

В целом метафора в языке науки выполняет функцию конституирования и выражения (представления) элементов нового знания, однако в различных научных дисциплинах в семантическом плане организована по-разному. Так, математическая метафора антропоцентрична, физическая — природоцентрична, медико-биологическая — социоцентрична [Силантьев 2018].

Переворот, совершенный школой Перельмана в риторике и теории аргументации, можно рассматривать в двух противоположных векторах — проспективном и ретроспективном, и во втором отношении имеет смысл оглянуться назад, чтобы понять, что эта теория возникла не на пустом месте, но имела вполне отчетливые предпосылки. В качестве иллюстрации мы выбрали фрагменты работ французского

физика и математика Анри Пуанкаре. Причин такого выбора было несколько. Помимо высокого научного авторитета ученого, апелляция к взглядам которого не может вызвать возражений, существенными моментами являются, во-первых, тот факт, что выступления Пуанкаре оказались в центре дискуссий о соотношении логики и интуиции в научном исследовании; во-вторых, сам стиль этих выступлений оказался не совсем бесстрастным, но включил широкий спектр приемов риторической аргументации и экспрессивных стилистических средств; наконец, в-третьих, Пуанкаре в своих трудах не ограничивался приемами доказательного дискурса, но включал разные формы убеждения, свойственные критической дискуссии. Указанные обстоятельства делают интересным обращение к данным работам и их роли для дальнейшего развития риторической теории.

Важнейшей частью рассуждений Пуанкаре становится различие логики и интуиции. В работе «Ценность науки» ученый исходит из тезиса, что «логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства, интуиция есть орудие изобретения» [Пуанкаре 1983: 167.]

Характерно, что связующим звеном логики и интуиции для Пуанкаре, как позже и для Перельмана, выступает аналогия. «Мы видим, что аналитики — не просто искусные мастера силлогизмов, вроде схоластов. С другой стороны, можно ли поверить тому, что они всегда шли шаг за шагом, не имея перед своими взорами той цели, которую они хотели достигнуть? Им нужно было угадывать дорогу, которая привела бы их к этой цели, они нуждались в путеводителе. Этот путеводитель — прежде всего аналогия» [Пуанкаре 1983: 168]. На двойственную функцию аналогии в процессе исследования укажет и Перельман.

Развитие аналогии во всех областях есть явление нормальное в той мере, в какой в этом есть необходимость, и пока к этому не возникает никаких препятствий. Как совершенно справедливо замечает Ридарс, аналогия никогда не бывает завершенной, мы можем ее использовать столько, сколько нужно, правда, с риском, что в какой-то момент она станет несостоятельной и распадется. Именно на этапе развертывания аналогии ее творческая функция отделяется от доказательной, ибо если при вынесении аналогии на первый план

ничто не мешает развивать ее сколь угодно долго... то с точки зрения своей доказательной силы аналогия не может выходить за определенные рамки без риска для доказательства, которое ею желают подкрепить [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 386].

Перельман и Ольбрехт-Тытека разграничили понятие аудитории на два противоположных типа — универсальную и частную, или конкретную. В первом случае оратор, развертывая аргументацию, пользуется универсальными способами доказательства, формируя позицию «рационального судьи», т. е. «всякого рационального человека, некоего абстрактно рассуждающего слушателя, Бога, наконец» [Perelman, Olbrechts-Tyteca 1971: 393]. Во втором случае он использует контекстуальную аргументацию, приемлемую для данной конкретной аудитории. Если в конкретной речевой практике оратор явным или неявным образом конструирует аудиторию здесь и сейчас, исходя из тождества и различия указанных принципов, то в письменных текстах, дистанцированных от читателя, он всякий раз вынужден априори отдавать предпочтение одному из них, возможно, в ущерб другому. Работы Пуанкаре обнаруживают присутствие обеих аргументативных тактик. Так, например, в работе «Ценность науки» можно наблюдать тактику, ориентированную на универсальную аудиторию, тогда как в «Науке и методе» с ее яркой полемичностью мы находим изобилие контекстуальной аргументации, ориентированной на потенциальных единомышленников.

Напомним, что в первое десятилетие XX века в среде философов обострился интерес к давнему противоборству двух точек зрения — Лейбница, который считал, что все математические науки можно воплотить в некоем универсальном логическом континууме, и Канта, который допускал существование синтетических априорных суждений, они могут доказываться путем обращения к наглядным представлениям, связанным с априорными формами чувственности. Первые публикации трудов Б. Рассела, позже включенные в фундаментальный труд «Principia Mathematica», подвигли исследователей (Кутюр, Пеано и др.) к попыткам создания «чистой» математики на принципах логоцентризма.

Несогласие с идеями логоцентризма и борьба с ними — одна из важнейших составляющих наследия Пуанкаре после 1908 года.

Не вдаваясь в содержательные моменты этой полемики, мы хотели бы сосредоточиться на проблеме использования резервов естественного языка и его риторических возможностей, которыми пользовался Пуанкаре. В первом приближении легко заметить обилие метафор и аналогий в трудах французского ученого. Так, во введении к третьей главе, оспаривая точку зрения оппонентов, исследователь замечает: «Некоторые из доказательств уже несколько раз возрождались из пепла, на подобие той лернейской гидры, у которой вырастали новые головы. Геркулес выпутался из затруднения, потому что его гидра имела девять голов, если не одиннадцать, но здесь слишком много голов: они имеются в Англии, в Германии, в Италии, во Франции, и Геркулес должен был бы отказаться от состязания. Я обращаюсь поэтому только к непредубежденным людям, обладающим здравым смыслом» [Пуанкаре 1983: 239]. Обращаясь к специфическому виду контекстуальной аргументации — апелляции к здравому смыслу, Пуанкаре разворачивает метафорическое клише, вызывая у читателя, как бы сказал Перельман, фору данного выражения.

В работе «Наука и метод» Пуанкаре ведет атаку на логический позитивизм в двух направлениях, используя как аргументы *ad hoc*, так и послылки *ad hominem*. С точки зрения аргументов по существу, считает исследователь, в трудах противников присутствуют выводы, исходящие из посылок, которые сами требуют доказательств. «Когда я читал труды, посвященные этой проблеме (речь идет об определении трансфинитного числа. — И. С., Ю. Ш.), я всегда испытывал чувство беспокойства; я ожидал, что натолкнусь на *petitio principii*, и если не встречал этой логической ошибки с самого начала, то всегда опасался, что просмотрел ее... В дальнейшем я остановлюсь только на тех определениях, в которых *petition principii* наиболее искусно скрыт» [Пуанкаре 1983: 375, 376].

Лишь после того, как найденных примеров *petition principia* оказывается достаточно для доказательности своей точки зрения, Пуанкаре использует аргументы «к человеку», основанные всё на тех же аналогии и метафоре. «Логистика заставляет нас сказать все то, что обыкновенно подразумевается; она заставляет нас двигаться шаг за шагом; это, быть может, делает движение более верным, но не более быстрым. Вы даете нам не крылья, но детские помочи. Но тогда мы имеем право требовать, чтобы эти помочи не давали нам падать.